

Владимир Булдаков

Российская революция: утопия, память, наука

Мир меняется, но как: эволюционно или скачкообразно? И каких изменений – революционных или реформистских – мы хотим, если хотим их вообще? Грубо говоря, где полезнее иметь «царя»: на троне или в голове?

100-летие революции 1917 г. породило новую волну поистине споров о природе революционности вообще, российской революционности в частности. Великие революции порождают не только великие мифы, но и великие иллюзии, причем ложные представления бывают столь основательны, что человек, взявшийся опровергать их, серьезно рискует. Известно, что ни одну проблему нельзя решить на том уровне, на котором она возникла (Альберт Эйнштейн). Тем не менее, русскую революцию пытаются понять со слов политиков 1917 г., забывая о том, что они *все* – от Павла Милюкова до Владимира Ленина – обанкротились в своих конечных ожиданиях.

Конечно, «генетический материал» русской революции был запрятан в глубине веков, а отнюдь не порожден текущим столкновением труда и капитала. Архетип взаимоотношений власти и народа, эта квинтэссенция *кратосознания* человека¹, складывается на протяжении столетий². Насколько он устойчив? Что определяет реактивацию его бунтарских элементов?

В свое время мною была предложена общая схема развертывания системных кризисов в России (на основе сопоставления событий Смутного времени, кризиса XIX – начала XX вв., революционных событий конца XX в.). Получалось, что при всей своей зыбкости кризисы в России включают в себя ряд компонентов, определяющих тот или иной этап их развертывания: этический, идеологический, политический, организационный, социальный, охлократический, рекреационный³. Однако, вместо рассмотрения цикла революционности в целом, историки обычно ограничиваются дотошным изучением лишь тех или иных его составляющих, с позитивистской самонадеянностью полагая, что именно таким путем можно добраться до сути проблемы. На деле, даже политическая составляющая кризиса носит вполне условный характер (имитация политики интеллигенцией), а весь процесс революционной трансформации протекает на архаичной *дополнительной* основе. Это связано с упорно игнорируемым фактором – относитель-

¹ Кратос – сила, власть (др.-греч.) – прим. ред.

² См. Булдаков В.П. Революция как проблема российской истории // Вопросы философии. 2009. № 1. С. 53-63.

³ Булдаков В.П. Quo vadis? Кризисы в России: пути переосмысления. М., 2007. С. 76-114; он же. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 2010. С. 669-687.

ной неизменностью психоэмоциональных реакций *homo rossicus*'а на ситуацию *во власти*.

Между прочим, эта схема в значительной степени совпадает (по крайней мере внешне) с ленинской генеалогией (этапами развития) революционного движения в России⁴. Ленин, вполне в духе этоса Просвещения, исходил из идеи соединения социализма с массовым движением. Но органичного слияния не произошло и не могло произойти: наукообразные утопии, вырабатываемые интеллигенцией, были слишком слабы для того, чтобы преодолеть инерционную архаику крестьянской ментальности, первые могли лишь стимулировать агрессивную составляющую второй.

Понятно, что проблема европейской и российской революционности непосредственно связана с эпохой Просвещения, основательно пошатнувшей соотношение между Верой и Разумом. Это, в свою очередь, изменило соотношение между рациональным и эмоциональным в массовом сознании. Но не стоит обольщаться относительно возобладания принципа разумности. Сама вера в Разум стала своего рода обыденной религией людей, привыкших решать все проблемы, исходя из ближайшего расчета. Причем не получив ожидаемых результатов, человек превращался в заложника ничем не сдерживаемых страстей. Французская революция продемонстрировала это в полной мере, несмотря на все усилия великих умов уложить ее неистовство в известные логические рамки. С русской революцией, произошедшей в усложнившихся духовных условиях и в еще более зыбкой социальной среде, случились совсем уже поразительные мнемонические и историографические метаморфозы.

Прежде всего, хотелось бы разобраться с понятиями, ибо иной раз аналитический процесс подменяется игрой во всевозможные «концепты». Так, в свое время вместо того, чтобы углубиться в внутреннюю природу событий 1917 года, началась полоса гаданий: что это было – революция или переворот? Вероятно, при этом кому-то казалось, что «понижив» уровень произошедшего до «пустякового» переворота, удастся сбросить груз непонимания явления. На деле редуцирование понятия разрушило плотину, сдерживающую напор мнемонической мнительности. Во главу революции, да и исторического процесса в целом, был поставлен Заговор. Историческое сознание опустилось на доисторический уровень. Теперь приходится выбираться из предрассудков, еще более основательно опутавших наше историческое сознание.

Для начала хотел бы пояснить, что для меня революция 1917 г. вовсе не одномоментный переворот, а нечто принципиально иное – протяженный системный кризис, подобный Смутному времени XVII в. Разумеется, внутри этого процесса появлялись точки бифуркации, возникали и соответствующие «перевороты». В принципе следовало бы принципиально различать в истории «события» и «структуры» (Р. Козеллек). В этом контексте русская революция выглядит мас-

⁴ Ленин В.И. Памяти Герцена // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 21. С. 255-262.

штабнее переворота в его привычном (увы!) понятии. Она скорее ближе к исходному понятию революции: полный цикл поворота, результатом которого станет возвращение космического тела на «свое» предопределенное место. Исходя из этого, тем более нелепо сводить произошедшее в 1917 г. к двум якобы противостоящим друг другу особым социально-политическим (Февральским и Октябрьским) феноменам. Они части единого *циклического* процесса.

И этот процесс в том виде, в каком он завершился, был невозможен без Первой мировой войны. Вудро Вильсон, будучи не только президентом, но и историком, отмечал, что война началась не по какой-то одной причине, она началась по всем причинам сразу. Начало XX в. в Европе было «революционно» по своему духу – оставалось только угадать, во что эта революционность выльется. Мировой катаклизм с его представлениями о «последней войне» после которой наступит «вечный мир», можно рассматривать как обращенную форму революционности. Тогдашние геополитические (отнюдь не новые) противоречия могли вылиться в мировую войну лишь в определенных общеевропейских социально-психологических, точнее, психопатологических условиях – в данном случае, связанные с надломом якобы торжествующей культуры европеизма.

Причины, породившие войну, в настоящее время очевидны: демографический бум, галолирующие миграционные процессы, спонтанная урбанизация, болезненная пролетаризация городского населения. В условиях общего «омоложения» и маргинализации населения все это обернулось накоплением элементов неотреагированной (а потому иррациональной) агрессивности (ресентимент). В условиях тогдашней информационной революции (почта, телеграф, телефон, кинематограф) психоментальное пространство сделалось «плоским» (на манер современного телевидения и Интернета). Как известно, трудно отыскать достижение технической мысли, которое человечество не ухитрилось бы обратить во вред себе. Но когда, при каких условиях *mass media*, безудержные по своей природе, начинают захлебываться от собственного вранья? В какой момент «позитивное» информационное пространство превращается в свою противоположность? И можно ли сдержать этот процесс, не доводя его до состояния самоаннигиляции?

В начале XX в. «демократизировавшаяся» культурная жизнь утратила свою ценностную упорядоченность и иерархичность: ученые мужи словно сошли с университетских кафедр в массы. Последние, разумеется, воспринимали их неадекватно – в псевдо-эсхатологическом духе. Вся Европа стала «беременна» и войной, и революцией. Однако интернациональный выход пытались найти на основании национального гегемонизма.

Глобализация сталкивает ранее отчужденные миры, и трудно надеяться, что они сразу же найдут язык взаимопонимания. В известном смысле большевики предложили свой вариант глобализации. Разумеется, он был совершенно утопичным, но многим хотелось видеть в нем только гуманистическую составляющую, «не замечая» насильственного способа ее воплощения. И это не удивительно: к тому времени весь европейский мир был уже пронизан насилием.

В результате XX в. наглядно показал, что под покровом европейской цивилизованности таятся «погребенные ужасы ушедших эпох» (Ф. Ницше). Вся грандиозная попытка эпохи Просвещения сделать мир единообразно «разумным» потерпела крах. В это до сих пор трудно поверить, хотя об этом напоминал еще Константин Леонтьев, кажется, впервые обратившийся к социальной психологии европейских народов⁵ и заключивший, что Европа дышит будущей войной. И потому мы по-прежнему остаемся в плену «рациональных» объяснений позапрошлого XIX века. В начале XX в. величайшую опасность представляла не общеевропейская нестабильность, а действия по ее преодолению, продиктованные «логикой вчерашнего дня» (Питер Друкер). С этим же фактором связан и тот когнитивный тупик, в котором мы оказались сегодня применительно к истории русской революции. «Диктатура разума» ушла в прошлое. От нее остались, как не без оснований было сказано, «ублюдки Вольтера»⁶.

Каждая культурная среда обладает своим способом противостоять или, напротив, стать жертвой общего недуга эпохи. В России набор общеевропейских противоречий усугублялся крестьянским вопросом. И дело не просто в аграрном перенаселении исторического центра империи, породивший феномен крестьянской революции, развернувшейся с 1902 г. и достигшей апогея в 1905 – 1907 гг. В начале XX в. город и деревня пребывали в разных эпохах, в разных культурных измерениях. Однако они могли сомкнуться в городской среде, перенаселявшейся всевозможными мигрантами. «Город» попросту не знал, что делать с «деревней» – отсюда феномен народничества. Внутрироссийское «столкновение культур» приняло особо острый характер в годы мировой войны. Оно было архаичным по своим проявлениям. Неслучайно тогдашнее военно-революционное бунтарство включало едва ли не весь набор погромных и самосудных действий, характерных для Средневековья. Между тем «просвещенные» люди упорно мыслили категориями и образами «возрождения». Немногие улавливали грозящие России опасности. Достаточно вспомнить «темное вино» – «иррациональное начало», которое бродило под покровом европеизированной политики и которое, по словам Н. Бердяева, «опрокидывало все теории политического рационализма». Впрочем, еще до Бердяева А. Блок пророчески писал: «И черная, земная кровь сулит нам, раздувая вены, все разрушая рубежи, неслыханные перемены, невиданные мятежи».

Поэт интуитивно улавливает то, что никак не принимает заучившийся «рационалист». Впрочем, гениям даются не только великие пророчества, но и великие иллюзии. В 1917 г. наступило время невиданных самообольщений. В таких условиях «выигрывает» фанатик.

Как бы то ни было, своеобразное резонирование ритмов европейской и российской истории в связи с мировой войной сделалось неизбежным. Информационная революция привела к невиданной заразительности идей. «Просвещенный»

⁵ Леонтьев К.Н. Записки отшельника. М., 1992. С. 452.

⁶ См. Сол Д.Р. Ублюдки Вольтера. Диктатура разума на Западе. М., 2007.

российский XX век сомкнулся с «крестьянским» XVII веком. Но, разумеется, в это никак не может поверить обычный человек, особенно, если он травмирован неудачей «строительства социализма в одной отдельно взятой стране». Некоторые наши эпигоны (а их, как всегда, предостаточно) не случайно ухватились за «веховское» истолкование истоков революции в России. Революции, действительно, предшествует интеллигентская «смута в умах» и соответствующее «бурление крови». Но общеизвестное не есть истинное.

Впрочем, основная масса историков, как в России, так и за рубежом, воспринимает события столетней давности в совершенно ином дискурсе. И этому тоже есть свое объяснение. Жизнь (история) не подчиняется искусственно навязываемым ритмам (как и соответствующим идеалам и идеям). В известные времена Клио не просто смеется над человеком, она словно начинает хохотать над его «футуристическими» деяниями.

Как понятие своего времени (XIX и XX вв.) революция была отрицанием старого, якобы расчищающим путь в будущее. Как реальность, прописанная в глубинах человеческих душ, она оказалась всего лишь «бессмысленным» бунтом. Причем бунт проявлял себя наиболее интенсивно именно там, где его наиболее усердно провоцировали призраком прогресса – то есть всеобщего благоденствия. Революция всегда подобна двуликому Янусу.

В сказанном нет ничего нового. Уже давно было отмечено, что «проклятием безудержного прогресса является безудержная регрессия»⁷. Это следовало бы принять не только как гипотезу, но и как аксиому. И не случайно исследователи уловили, что своеобразным пиком и, вместе с тем, началом новой европейской эпохи стал 1912 год с его практически одновременным всплеском футуризма, экспрессионизма, имажинизма в искусстве⁸.

Итак, «бунташная» русская революция была вызвана Утопией. Утопия породила Миф, доживший до наших дней. Но какая утопия? Вряд ли уместно кивать на «марксизм-ленинизм». Он был скорее Доктриной, выросшей на подходящем социальном ландшафте.

Настоящей утопией была вера в необратимость Прогресса. Предполагалось, что человеческое развитие идет либо по эволюционной экспоненте, либо революционным образом «прыгает» вверх по ступенькам общественно-экономических формаций. Но только вперед. На этом фоне различия в путях достижения прогресса казались несущественными.

Возник характерный парадокс: эпоха Просвещения и порожденный ею Модерн пытались отрицать любые виды утопии. В результате Модерн сам стал временем сплошной Утопии. Отсюда и оптимистичные представления о революции, замешанные на нерассуждающей вере в Разум и подкрепляемые соответствующими

⁷ Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения: философские фрагменты. М., СПб., 1997. С. 53.

⁸ Ассман А. Распалась связь времен? Взлет и падение темпорального режима Модерна. М., 2017. С. 106-107.

щими моральными установками. «Революция очень долго представлялась исключительно как череда победоносных войн, которые вел жаждущий свободы и вдохновленный благороднейшими стремлениями народ против союза всех сил угнетения и невежества», – писал Ж. Сорель задолго до русской революции⁹. Такие представления могли легко обернуться апологией «прогрессивного» насилия.

В связи с этим стоит вспомнить о феномене футуризма. Ни кто не будь, а итальянцы, «уставшие» от груза «застойной культуры» в 1909 г., выступили апологетами войны, «революционно» освобождающей человечество для прорыва в будущее. Впрочем, к концу XIX в. все духовное пространство Европы было пронизано футуристическим утопизмом. Россия не оставалась в стороне. И много ли стоили проекты мировой революции на фоне мечтаний о том, что обновленная Российская империя может получить свою новую столицу в Киеве, а став «главой Великого Восточного Союза» обретет «новую культурную столицу на Босфоре»!¹⁰.

Сегодня почему-то «забывают», что уже в конце XVII в. Европе зарождается новая темпоральность – люди начинают сопоставлять настоящее и будущее. И это касалось не одних только революционеров – нарастало всеобщее недовольство *status quo*. Интуитивные ощущения нестабильности вызывали соответствующие эмоции. Из эмоций рождались «пророчества». Стоит напомнить, что многие русские (и не только) поэты восторгались Ш. Бодлером – казалось, что своей «антибуржуазной» поэзией он словно подталкивает время физического бытия¹¹. Что касается первых итальянских футуристов, то они словно задались целью выпустить наружу разрушительную творческую энергию, способную до основания – в том числе и с помощью войны – разрушить всю старую культуру¹². К слову сказать, российские последователи безудержных итальянцев с началом Первой мировой войны «одумались»: антивоенным протестом был захвачен не только В. Маяковский¹³.

В известном смысле из этих представлений родился общий «революционный» взгляд на мир. Известный лозунг «Время – вперед» вовсе не изобретение сталинской «модернизации». Все «буржуазные» революции XIX в., казалось, подхлестывали время (хотя на деле они скорее сдерживали ход естественного развития, тормозили его). Но информационная революция начала XX в. действительно «пришпорила» время: людям показалось, что будущее можно выковать «здесь и сейчас».

⁹ Сорель Ж. Размышления о насилии. М., 2013. С. 102.

¹⁰ Леонтьев. Записки отшельника. С. 282.

¹¹ Ассман. Распалась связь времен? С. 37.

¹² См. Манифесты итальянского футуризма. Собрание манифестов Маринетти, Боччьони, Кара, Руссола, Балла, Северини, Прателла, Валентина де Сен-Пуан. Перевод Вадима Шершеневича. М., 1914.

¹³ Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г. Война, породившая утопию. М., 2015. С. 93, 103.

Революция 1917 г. в значительной степени была продуктом подобных футуристических императивов. Эпоха Просвещения фактически закончилась в связи с Первой мировой войной (туда же следовало бы отправиться и прогрессистским иллюзиям Модерна). Неслучайно в тогдашнем интеллектуальном мейнстриме появились не только такие фигуры как Ф. Ницше и З. Фрейд, отдававшие приоритет области бессознательного в жизни человека. Даже *внутри* позитивизма В. Вундт перенес акцент с эгоистического индивидуализма эпохи Просвещения на «национальный (народный) дух» (Volksgeist).

В России Вундта весьма почитали. А он, между прочим, как-то уловил перспективу «внушаемого будущего», когда историкам останется только определить, «каким образом было произведено внушение массам, к которым будут сводиться самые важные исторические события»¹⁴. Соблазн политтехнологизма возник не сегодня. Он имеет свою длительную историю, связанную с учеными заблуждениями целой эпохи.

Но хотя к началу XX в. эпоха Разума явственно угасала, люди, тем не менее, продолжали действовать в соответствии с ее привычными постулатами. Постепенно былой прогрессизм стал опускаться на прикладной, а затем и бытовой уровень. «Время революций» вытеснялось временем «восстания масс». Но люди не готовы к пониманию неожиданного и пугающего: даже современные «арабские революции» истолковываются в конспирологическом ключе, а не как стихийная цепь восстаний, точнее бунтов, против культурной экспансии пережившего свое время европейского Модерна.

В России конца XIX в. представления о прогрессе сблизилась с понятием революция благодаря вторжению марксизма. Это легко пояснить на примере политических метаний П. Струве. В 1894 г. он призывал «признать нашу некультурность и пойти на выучку к капитализму» (это высказывание в России «оценили» через столетие). В 1898 г. он выступил автором Манифеста I съезда РСДРП, затем ринулся к кадетам, после чего еще более поправел. Падение самодержавия он встретил, однако, с восторгом, но в эмиграции признал, что тогда «дурак был». Впрочем, незадолго до победы большевиков он заявил, что революция в России – это соединение «Карла Маркса с русской сивухой». Метафора, конечно, не лишена правдоподобия. Но более убедительно смотрелось бы напоминание (не принадлежащее Струве) об утопии, вполне конкретно «побратавшейся» со штыком¹⁵.

Струве был талантливым и столь же безответственным человеком и политиком. Впрочем, талант не пропьешь даже в России. Струве одним из первых сравнил русскую революцию со Смутным временем начала XVII в. В общем, он отказался от линейно-прогрессистского представления об историческом развитии

¹⁴ Вундт В. Гипнотизм и внушение. СПб., 1909. С. 108.

¹⁵ Филиппова Т.А. Братание идеи со штыком: политико-культурные смыслы Великой российской революции // Российская история. 2017. № 2. С. 78-92.

и, это, на мой взгляд, его основная, если не единственная, заслуга перед историософией.

А теперь мысленно представим, как все это смотрелось сквозь окуляры «марксизма-ленинизма» советских времен. Люди того времени явно забыли в каком веке живут, ибо мечтали только о том, как побыстрее запрыгнуть в будущее («догнать и перегнать»). Со временем – в порядке самоутешения! – они отождествили прогресс с темпами экономического роста. И догадаться, что они связаны по рукам и ногам не только идеями XIX в., но и представлениями об «индустриализме» времен Петра I, им было не дано.

Всякие масштабные и, особенно, «переломные» и катастрофические события особым образом впечатываются в память последующих поколений¹⁶. Было бы наивным думать, что в результате этого рождается некая «правда истории». На деле всего лишь меняется психология восприятия былого события. А в случае с революцией возможна даже радикальная перверсия представлений. Так возникает «новый» анти/миф, способный «эволюционировать» и мимикрировать соответственно запросам меняющегося исторического воображения. В общем, это все то же бесконечное плутание в потемках непонятой истории. При этом всякая ничтожная ментальная подвижка может выдаваться за «озарение».

Так бывало всегда. Тем не менее, словосочетания «историческая память», «народная память» воспринимается у нас как нечто сакральное, не подлежащее сомнению. Между тем, то, что именуется исторической памятью – ни что иное, как спрессованный набор наивных представлений о малопонятном прошлом. Она соткана из множества недоумений, порожденных попытками бытового «картографирования» исторического процесса. Основу ее составляют людские эмоции и воображение, направленное на сравнение желаемого и обретенного. Наиболее отчетливо это заметно применительно к истории революции: поскольку очередной ее образ перестает удовлетворять потребности в «нужном» прошлом, он корректируется и модифицируется утопией – как «консервативной», так и «прогрессивной». Затем из симбиоза мифических и утопических компонентов массового сознания возникает некая конвенциональная память о революции. Понятно, чтобы выбраться из пут такого «заинтересованного» копания в прошлом, следует, прежде всего, критически взглянуть на соотношение памяти, воображения и собственно историографического механизма.

В сущности, всякая историческая память противостоит попыткам научного осмысления прошлого. К тому же, в СССР эта память подверглась невиданной деформации. М. Мамардашвили писал, что обществу был навязан язык, неадекватный реальности, который, в конечном счете, привел к фокусническому устранению реальности¹⁷. Выдающийся социолог Э. Геллнер по-своему уточнил:

¹⁶ См. Corney F. *Telling October: Memory and Making of the Bolshevik Revolution*. Itaca, London, 2004; Тихонов В.В. Революция 1917 г. в коммеморативных практиках и исторической политике советской эпохи // *Российская история*. 2017. № 2. С. 92-112.

¹⁷ Мамардашвили М. *Как я понимаю философию*. М., 1990. С. 201, 205.

коммунистические правители ухитрились сделать официальной государственной доктриной и основой социального порядка «не что иное, как саму *теорию истории*»¹⁸. Эта амальгама самой передовой «науки» и одряхлевшего мифа – поистине уникальный «историографический» феномен, призванный произвести мобилизационный идеологический эффект.

Но в силу каких причин советская пропагандистская машина, инерционная по своей природе, захлебнулась от собственного вранья? Очевидно, это могло произойти тогда, когда поддерживаемое ею соотношение между реальным, воображаемым и символическим перестало соответствовать людским представлениям о должном. Потребовался очередной кризис власти, чтобы создались условия для переосмысления, как казалось, навсегда забытого и отброшенного прошлого. Прошлое не уходит: оно мстит за собственное забвение.

Однако русскую революцию подстерегали и другие коллизии исторического воображения советского человека. В СССР культивировалась жертвенно-героическая и, соответственно, *мстительная* память, основывающаяся на (якобы) личном переживании прошлого¹⁹. Дореволюционное прошлое либо селективно стиралось из памяти, либо демонизировалось²⁰. Так стимулировались не модернистские, а автаркистские и ксенофобские элементы общественного сознания. Вместе с тем, подавлялась способность к критическому осмыслению и переосмыслению истории. Последствием стало специфически «советское» отношение к прошлому.

Один западный автор весьма проникательно назвал Россию чем-то вроде «империи благих намерений», которые на деле оборачивались противоположностью²¹. В советское время традиционный патернализм предстал в ипостаси «научного коммунизма». Однако всякий обман и самообман не должен носить столь откровенной доктринально-материалистической привязки. Страх обманутости возбуждает чувство мести, способное принять характер «исторического возмездия».

С другой стороны, в советскую историческую память неуклонно внедрялось представление о том, что СССР многократно превзошел экономические достижения царской России, пиком которых был 1913 г. Возникал образ «дающей» революции, что соответствовало производственно-потребительской ментальности «простого советского человека». Иной революции не могло и быть – это представление и породило последующее стремление морально и идеологически «убить» не оправдавшую надежд революцию с помощью привычной для советского человека бюрократической цифири. Отсюда нынешнее состояние недоуме-

¹⁸ Gellner E. Foreword // Loone E. Soviet Marxism and Analytical Philosophies of History. L., N.Y., 1992. P. VIII.

¹⁹ Corney F. Telling October. P. 203.

²⁰ Святославский А.В. История России в зеркале памяти: механизмы формирования исторических образов. М., 2013. С. 281.

²¹ См. Martin T. The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923 – 1939. Ithaca, L., 2001.

ния, вклинившееся в собственно историографию с помощью наиболее примитивных вариантов «социологии» революции.

Обыденная память далека от задач постижения прошлого. Однако получается еще хуже, когда с ее помощью конструируется некое верование. Для «среднего» советского человека вера в коммунистический телеологизм составляла имплицитную основу социального оптимизма. В 1957 г., к примеру, из тогдашних научно-популярных журналов можно было узнать, что через сорок лет в мире воцарится коммунизм, а последнему и единственному поклоннику принципа частной собственности из пресловутых Рокфеллеров не останется ничего иного, как попросить себе надел для индивидуального хозяйствования – иной жизни он не представлял.

Всякий революционный культ вырастает, а затем поддерживается иерархией персонифицированных «культиков»²². Из бывшего «многобожия» в СССР вырос единый Культ, который заслонил собой самый образ революции. Не удивительно, что с разрушением культа соответствующие «подозрения» пали на саму революцию. Причем поначалу в годы перестройки была сделана попытка опереться на образ «революции-ускорения», но за этим последовало поношение всякой революционности.

Развал СССР сопровождался крахом официальной историографии «Великого Октября». Восполнить потерянное на научном уровне было нечем. И не случайно западные авторы еще в 1990-е годы сделали безошибочный прогноз: возрождение конспирологических версий неизбежно. Вместе с тем, отсутствие привычных сдержек развязало всевозможные фантазии.

Вряд ли нужно пояснять, что блоковских пророчеств современная историография, некогда ушибленная квазикоммунистическим социологизмом, не замечает. Они не вписываются и в нынешний тип российской историографической психоментальности. В прошлом считалось, что в СССР невозможны ни кризисы, ни беспорядки, ни, тем более, революционные потрясения. С крахом советского коммунизма разыграли эмоции людей, «обманутых» революцией²³.

Все это и обусловило состояние идеологического вакуума, в который – словно по насмешке Клио – вторглись наиболее примитивные представления о революции столетней и более давности.

После революции неизбежны попытки примирить историческую память с историографическим воображением. Это явление не может не быть болезненным.

Наука всегда стремится опереться на «универсальные» законы и всякий раз спотыкается на этом. Дабы избежать конфуза, применительно к истории было изобретено представление о «политической культуре» того или иного народа.

²² Булдаков В.П. 1917 год: лица, личины и лики революции // Россия и современный мир. 2017. № 1(94). С. 6-20.

²³ См.: Булдаков В.П. 1917 год: Страсти революции // Труды по русистике ИНИОН. Вып. 6. М., 1916; он же. Революция и эмоции: к реинтерпретации политических событий 1914 – 1917 гг. // Эпоха войн и революций: 1914 – 1922. СПб., 2017. С. 460-475.

Слов нет – всякий народ своеобразен по определению. Но попытка охватить это своеобразие *политической* культурой – уловка, скрывающая стремление к единообразию исследовательского подхода.

Историческое бытие каждого народа словно подстраивается к ключевым событиям минувших лет, выдвигая подходящих «героев» и злодеев». Этим обеспечивается уверенность народа в собственной защищенности. Нынешняя депрессивность российской социальной среды во многом связана с тотальным отчуждением от собственной истории. При этом средний человек *sui generis* не склонен считаться с научными опровержениями причуд своего исторического воображения.

История, как наука, – не только «ненужная», но и «вредная» профессия. Она противостоит не только исторической памяти, но и «энергии воспоминаний», которая со времен Наполеона активно используется политиками в своих собственных интересах. Ф. Ницше как-то отметил, что неприкрашенная история подрывает будущее, разрушая иллюзии и отнимая у окружающих нас вещей их атмосферу, в которой они только и могут жить. В наше время, в России это очень заметно. Сообщество историков лихорадит.

Сталкиваясь с хаосом бытия, человек пытается натянуть на него смирительную рубашку «нормы» и «порядка». Этот самообман, в сущности, составляет основу обыденного восприятия как прошлого, так и настоящего. Между тем, полезнее было бы научиться понимать историю изнутри, избегая доступных «истин», которые нашептывает легкомысленная современность. На деле получается с точностью до наоборот. В современном обществе сделать это особенно легко в связи с помощью визуально-сетевых средств массовой информации. Историческая память, ранее формировавшаяся легендами, фольклором, обычаями, ритуалами оказывается под непрерывным натиском дилетантов, подсовывающих «свой» взгляд на прошлое с помощью совершенно не соответствующим ему картинок. Самое легкомысленное применительно к истории – исходить из формальных аналогий. Однако мифотворчество нашего непредсказуемо глобализующегося мира упорно оперирует внешним сходством.

Сегодня актуализировалось множество экзотических «теорий» Февральской революции. В прошлом некоторые авторы связывали ее с перманентным состоянием «расколотости» России, связанным не столько с историческим Расколом, сколько с невозможность выработать «срединную» культуру и создать «средний» социальный слой, социокультурно консолидирующей все сословия и страты²⁴. В наше время некоторые авторы переводят феномен Раскола в политико-прагматичный контекст. Доказывается, что поскольку «старая вера» – исконно народная форма «русскости», то гонения на нее спровоцировали все последующие беды России. Пишут даже об исторической «мести» старообрядчества ро-

²⁴ См.: Ахиезер А.С. Специфика российской политической культуры и предмета политологии. М., 2002; он же. Октябрьский переворот в свете исторического опыта России // Октябрь 1917 года: взгляд из XXI века. М., 2007.

мановской монархии – это следует отнести к числу модных «метаисторических» фантазий²⁵. Известно, что революционные агитаторы встречали особое понимание у раскольников; справедливо, что к началу XX в. все более значительная часть верующих бежала от «казенного» православия во всевозможные секты; несомненно, что указ о веротерпимости (апрель 1905 г.) мог активизировать старообрядчество, но роста антиправительственных настроений «староверов» или сектантов, выходящих за рамки их прежнего духовно-изоляционистского отторжения от «антихристов-Романовых», не было заметно.

Но существует и прямо противоположное представление о ныне канонизированных Романовых. Их отголоском и одновременно апогеем их апологетики является представление о том, что Николай II был «реформатором». Это обосновывается тем, что на время его царствования приходилось весьма значительное количество реформ²⁶. Правда, никто не задается вопросом: а сколько нужно было реформ, какое системное качество они должны были представлять? И можно ли утверждать, что принимаемые реформы были инициированы именно самодержцем? На деле во время правления Николая II возникла принципиально антимодернизационная ситуация: российский самодержец и интеллигенция словно оказались в разных темпоральных измерениях: первый ориентировался на якобы сакрализованный «застой», вторая – готова была бездумно отдаться на волю «прогресса». А о революционизирующем воздействии «реакционных» сил времени упоминал в свое время сам В.И. Ленин.

Было бы странным, если бы в России не сложилось особого отношения к власти. Для россиянина она поистине онтологическая величина, единственно способная упорядочить пугающие пространства территорий, этносов, не говоря уже о непокорных людских душах²⁷. Но, если бесконечность и вечность – «естественное» пространство империи – становятся «координатами» существования державы, то последняя сама становится верой²⁸. Ее крушение – есть крах Веры.

В сущности, именно этим и определяется современное состояние исторического сознания. При этом самое поразительное, что фантазийная конспирология легко уживается с материалистическим взглядом на историю. И здесь включается «железная» логика: если предреволюционная Россия экономически «процветала», уверенно двигаясь «от традиции к Модерну», если народ «благоденствовал», то никаких объективных предпосылок революции быть не могло. Марксистская догма оказалась посрамлена «экономическим детерминизмом»!

²⁵ См. Шахназаров О.Л. Старообрядчество и большевизм // Вопросы истории. 2002. № 4; Пыжиков А.В. Корни сталинского большевизма. М., 2015.

²⁶ См. Куликов С.В. Бюрократическая элита Российской империи накануне падения старого порядка (1914–1917). Рязань, 2004; он же. Император Николай II как реформатор: к постановке проблемы // Российская история. 2009. № 4.

²⁷ См. Королев С.А. Бесконечное пространство: гео- и социографические образы власти в России. М., 1997.

²⁸ Исаев И.А. Топос и номос: пространства правопорядков. М., 2007. С. 19-20.

Несомненно, конспирология связана с кризисом позитивистского исторического сознания. Стоит вспомнить, что склонность к мифотворчеству в свое время продемонстрировал даже «позитивист» П.Н. Миллюков, открывший на старости лет «масонскую» тему русской революции. Она, в свою очередь, оказалась «неожиданно» востребована в советское время в связи с истощением суггестивного потенциала официальной идеологии²⁹. Все это не случайно: практически вся историография русской революции по-прежнему исходит из парадигмы эпохи Просвещения: события 1917 г. представляются возвышенным продолжением буржуазных революций прошлого.

С другой стороны, на помощь конспирологии подросла вера в политтехнологии – этого продукта анемичной социальной среды, вновь ощутившей себя жертвой «злых сил»³⁰. Между тем политология по определению отрицает герменевтику, то есть возможность понять чужую культурную среду изнутри. В результате все, что не укладывается в политологический образ мысли, вольно или невольно задвигается в область «ненормального». В этих условиях людям параноидального воображения остается лишь придать всему непонятному inferнальный характер. В результате обыденные представления о русской революции лишаются не только логических, но и ценностных оснований.

Известно, что бывают времена, когда персональные комплексы начинают резонировать с общественными психозами. Психоментальную напасть нашего времени составляет вера в механистичность социального. В известные времена идеология, словно растворяясь в технике, начинает продуцировать технократический взгляд на весь мир, прежде всего, на людей как существ, управляемых внешней силой³¹. Так появляется еще один ресурс мифотворчества. Особенно охотно используют его люди чем-то обделенные. Их словно притягивают «невидомые силы» прошлого. Они словно дают им шанс возвыситься над «непонятным» научным окружением.

Вместо бесполезных попыток понять прошлое с помощью политологически упрощенной современности, следовало бы отталкиваться от своеобразия исследуемой эпохи. Почему в связи с этим не вспомнить об эндогенном характере кризисного ритма российской истории³²? В сущности, вся «загадка» 1917 года связана с наложением ритмов российской и мировой истории, в результате которого внутренний системный кризис срезонировал с европейской катастрофой. Отсюда и масштабы разрушений, и последующее воздействие утопических идей русской революции на внешний мир.

²⁹ Яковлев Н.Н. 1 августа 1914. М., 1974. С. 4-5.

³⁰ См. Кагарлицкий Б. Наваждение. Симптомы одной болезни: конспирология и политтехнология // Русская жизнь. 2008. № 6(23).

³¹ Юнгер Ф. Совершенство техники: машина и собственность. СПб., 2002. С. 184-185.

³² См. Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец или новое начало? М., 2005; Булдаков В.П. Quo vadis. Кризисы в России: пути переосмысления. М., 2007.

Неспособность или нежелание понять *исторический* смысл русской революции вызывает панические призывы заняться «возвышенной» задачей «клиотерапии»³³. Но нечто подобное уже практиковалось в советское время. Не менее «вдохновляющую» роль призваны сыграть и уверения в том, что Россия – «успешная страна»³⁴. О былых достижениях СССР по производству «чугуна и стали» всем известно; в связи с этим стоило бы вспомнить о сопровождавших их ощущениях советских граждан.

В области идеологии и политики русская революция стала своеобразным состязанием «новейших» политических доктрин и утопий, диссонирующих с народной ментальностью, что закономерно обернулось «трагедией конкурирующих невозможностей»³⁵. Думать, что этим процессом, как и всякой иной революцией, можно было управлять, все равно, что исходить из предположения, что хвост управляет собакой. Возможно, для понимания фантомов и фантазмов русской революции в нашем столь же «непрозрачном» мире требуется «другая организация разума и желаний, о которых мы можем пока мечтать»³⁶. Впрочем, можно поступить проще, вспомнив кое-что из прошлых интеллектуальных достижений. Русская революция стала скорее характерным для XX в. «восстанием масс» (Х. Ортега-и-Гассет), по модернизаторскому недоразумению направленным на создание «нового человека». Последнее было невозможным – отсюда и последующее «бегство от свободы» (Э. Фромм). Как результат, футуристам пришлось довольствоваться ролью «Дон Кихотов революции»³⁷.

Русскую революцию, как и породившую ее Первую мировую войну, бесполезно пытаться анализировать в рамках линейных причинно-следственных зависимостей. Величайший российско-мировой системный кризис протекал по законам социальной синергетики, то есть динамики самовоссоздания «порядка из хаоса»³⁸. А его итог определялся малозаметным, но решающим фактором – психикой «маленького человека», вынужденного решать проблему выживания не по предписаниям «ученых мужей», а цепляясь за ускользающее прошлое. Но может ли человек освоить логику самоорганизующегося хаоса, если он сам находится внутри его?

³³ Миронов Б.Н. Социальная история России. Т. 1. СПб., 2003. 3-е изд. С. XV-XL. XVII, 16.

³⁴ Соловей В.Д. Русская история: новое прочтение. М., 2005. С. 7-9.

³⁵ Критический словарь Русской революции: 1914–1921 / Сост. Э. Акстон, У.Г. Розенберг, В.Ю. Черняев. СПб., 2014. С. 48.

³⁶ Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне: двенадцать лекций. М., 2008. С. 296.

³⁷ См.: Белая Г.А. Дон Кихоты революции – опыт побед и поражений. М., 2004.

³⁸ Попытки перевести вопрос в такой контекст предпринимались неоднократно. См. Февральская революция: от новых источников к новому осмыслению. М., 1997; Октябрьская революция: от новых источников к новому осмыслению. М., 1998; Булдаков В.П. «Другая» революция: Пути и возможности переосмысления Октября // Академик П.В. Волобуев: неопубликованные работы, воспоминания, статьи. М., 2000. С. 238-264; он же. Империя и смута: к переосмыслению истории русской революции // Россия и современный мир. 2007. № 3 (56). С. 5-27; он же. Кризисный ритм российской истории: к культурно-антропологическому переосмыслению // Политическая концептология. Ростов-на-Дону. 2015. № 2. С. 18-52.

Вопрос остается открытым. По мнению Ю. Лотмана, система, подобная российской, провоцировала к воплощению в жизнь заведомо неосуществимого идеала, что отзывалось поэзией построения «новой земли и нового неба»³⁹. Но это скорее привлекательный своим имплицитным самоутешением образ, нежели осязаемая реальность, – человек в любом случае скрытый бунтарь. Почему же он вновь добивается «царя», отторгая очередного венценосного неудачника?

Историкам следовало бы ответить на вопрос: почему и как внутри таких устойчивых величин, как культура, хозяйство или ментальность «вдруг» происходит лавинообразный рост «малых возмущений», оборачивающийся тотальным хаосом, который пытается взломать генетический код системы. Ответ окажется прост: хаос приходит изнутри, из душ маленьких людей, тихое существование которых автократический монстр делает невозможным. Сегодня бюрократическая машина вновь воспринимает этих людей как некое среднестатистическое существо. За ней следуют мифотворцы от истории.

У всех авторитарных систем один конец: власть либо закисает от безволия «самодержцев», либо деревенеет от тупости бюрократии. Это происходит в пору материального (реального или воображаемого) расцвета: в условиях внешнего изобилия элиты теряют чувство самосохранения и впадают в словоблудие, низы, напротив, требуют своей части «дармового» общественного пирога. Достаток развращает – все считают себя обделенными. То, что считают стагнацией и застоєм, несет в себе чудовищный революционный потенциал – люди превращаются в жертв собственных прихотей и вожделений, а потому становятся заложниками собственных предрассудков.

Если человека лишают каждодневной веры в самого себя, то он непременно поверит в существование вневременной нечистой силы. Авторитарная власть, сама того не ведая, ведет именно к этому, выпуская на простор не менее авторитарных «бесов» революции. Последним остается лишь в очередной раз прикинуться «ангелами». И это будет продолжаться до тех пор, пока историческая память не избавится от иллюзий, а историческая мысль от веры в «спасительные» доктрины.

Современный человек не желает понять сути революции. Конечно, при избытке «праведной» эмоциональности он обладает совсем не той мыслительной парадигмой, которая требуется для этого. Но дело не только в том, что обыденному сознанию довольно проблематично оперировать неведомыми категориями синергетики, ему не дано ощущение своей изоморфности былому революционному хаосу. Для привычного позитивизма само понятие *Zeitgeist* – ключевое, для осмысления любой эпохи – остается недоступным.

³⁹ Лотман Ю.М. *Культура и взрыв*. М., 1992. С. 258.